

- ⁴ *Баллюзек Л.* Народные обычаи имевшие, а отчасти и ныне имеющие, в Малой киргизской орде силу закона, опубликованные в 1871 г. // *Материалы по казахскому обычному праву.* Алма-Ата, 1948. С. 220.
- ⁵ *Гродеков Н.И.* Киргизы и кара-киргизы Сыр-Дарьинской области. Т. 1. Юридический быт. Ташкент, 1889. С. 27. Более подробно об этом: *Савин И.С.* О категориях группового сознания у казахов-кочевников // *Вестн. Евразии.* 1999. № 1–2.
- ⁶ *Радлов В.В.* Из Сибири. Страницы дневника. М., 1989. С. 250.
- ⁷ Киргизы // *Жизнь национальностей.* 1919. № 13 (21).
- ⁸ *Жургенев.* Город и аул в восстании казаков 1916 года // *Советская степь.* 1926. № 196 (803).
- ⁹ *Султангалиев М.* Социальная революция и Восток // *Жизнь национальностей.* 1919. № 38 (46).
- ¹⁰ *Ходжанов.* О перенесении центра КССР в Акмечеть // *Советская степь.* 1925. № 371.
- ¹¹ *Сергазиев.* Этнографический материал и национальность // *Советская степь.* 1925. № 411.
- ¹² *Пестковский С.* Национальная культура // *Жизнь национальностей.* 1919. № 21(29).
- ¹³ Цит. по: *Советское строительство в аулах и селах Семиречья 1921–1922 гг.* Сб. документов и материалов. Алма-Ата, 1957.
- ¹⁴ *Советская степь.* 1926. № 51(657).
- ¹⁵ *Немченко М.* Национальное размежевание Средней Азии. М., 1925. С. 3–4.
- ¹⁶ Исследование “этнизации” коллективного сознания народов Средней Азии в советский период важно еще и потому, что позволяет глубже понять механизмы этнической мобилизации в постсоветский период и основные черты современного массового сознания, особенно на фоне возрастающих новых вызовов внутренней стабильности этих обществ со стороны радикальных идеологий.
- ¹⁷ *Аристов Н.А.* Опыт выяснения этнического состава киргиз-казаков большой орды и каракиргизов на основании родословных сказаний и сведений о существующих родовых делениях и о родовых тамгах, а также исторических данных и начинающихся антропологических исследований // *Живая старина.* 1894. Год 4-й. Вып. III–IV.

© ЭО, 2005 г., № 1

У. Фиерман

О “НАЦИОНАЛИЗАЦИИ” УЗБЕКОВ

В работе Алишера Ильхамова “Археология узбекской идентичности” дан очень полезный анализ процесса конструирования узбекской идентичности и, в частности, дискуссий об изменявшемся значении термина “узбек”, а также других терминов, относящихся к идентичностям групп людей, чьи потомки населяют сегодняшний Узбекистан. А. Ильхамов приводит убедительные аргументы в поддержку своих выводов, и, хотя судить о его рассуждениях по поводу ранних периодов истории – не в моей компетенции, у меня нет серьезных возражений по поводу его выводов о том, каким образом эти периоды интерпретировались советскими историками. В нижеизложенных замечаниях мне бы хотелось попытаться восстановить некоторые фрагменты общего контекста обсуждаемой темы, которые, как мне кажется, стоит принимать во внимание при рассмотрении вопросов, которые поднимает А. Ильхамов, а также дополнить рассуждения А. Ильхамова рядом деталей.

В статье А. Ильхамова приводятся достаточно аргументов в пользу того, что в случае узбеков и Узбекистана национальная идентичность не является ни идентичностью, всецело примордиальной и статичной, ни идентичностью, оторванной от исторических корней. Э. Смит, заложивший в своих трудах основы для более общего анализа в подобном ключе, указывал на критически важную роль процесса государственного строительства, военной мобилизации и религиозной организации в формировании этнической общности¹. Конечно же, несмотря на прокламируемую идеологию, советские вожди были вовлечены в процесс государственного строительства. Парадоксально, однако, то, что в дальней перспективе большевики стремились создать надэтническое государство, но в ближней перспективе – на своего рода промежуточном этапе на пути к созданию надэтнического государства – они предприняли разметку единиц, подобных этническим общностям, которые с идеологической точки зрения были обречены на исчезновение в некое время в будущем, когда должны были исчезнуть как этнические, так и государственные привязанности.

Хотя ни интеллигенция, ни остальные массы, из которых компартией формировалась узбекская нация, не были вовлечены в процесс военной мобилизации, оговариваемый Э. Смитом, а также отсутствовала и координация со стороны организованной религиозной структуры, тем не менее марксистско-ленинская идеология, лежавшая в основе идеи надэтнического государства, выполняла роль своего рода “гражданской религии”. Более того, когда в 1930-е годы начался процесс русификации, в сфере культуры развязалось некое подобие “партизанской войны”, противопоставившей новоозначенных узбеков советскому противнику как стороне, в которой доминировал русский элемент. Говоря о гораздо более позднем периоде, когда началась другая “война”, Д. Карлайл указывал, что кампания Москвы против коррупции в 1980-х годах оказалась еще одним ключевым событием, сплотившим титульный народ Узбекистана вокруг чувства общей принадлежности и опосредствовавшим сдвиг, так сказать, от “узбеков” со строчной буквы к “Узбекам” с заглавной буквы².

Какими бы ни были манипуляции большевистских лидеров и функционеров в первые полтора десятилетия их нахождения у власти, на события этого периода необходимо также смотреть в контексте объявленного ими курса на пересмотр колониальных взаимоотношений между Россией и отсталыми областями империи, такими как Средняя Азия. Некоторые из важнейших мер, предпринятых в этот период, свидетельствуют о том, что деятельность в данном направлении действительно проводилась. Не нужно приписывать доброжелательных намерений Сталину, чтобы признать, что даже вопреки интересам многих “великодержавных шовинистов” в 1920–1930-е годы большевики следовали политике коренизации и в русле этой политики партия активно выдвигала представителей среднеазиатских, как впрочем и других, национальностей на позиции власти (даже если эта власть оказывалась мимолетной и ограниченной).

Это, конечно, отдельный вопрос, стоящий несколько в стороне от главной задачи рассматриваемой работы, поскольку внимание А. Ильхамова сконцентрировано на проблемах исторического *содержания* и на том, как в процессе отбора тех или иных групп сформировались основания узбекской национальности. И все же мне кажется, что при рассмотрении процессов, происходивших конкретно в раннесоветский период, стоит обратить внимание и на тот окольный путь, который превратил большевиков (партию, провозгласившую дорогу в безнациональное будущее) в “нациестроителей”.

Акцент, который А. Ильхамов ставит на моменте национального размежевания как на переломном событии в создании узбекской нации, представляется вполне обоснованным, особенно если учесть сущность большевистского понимания нации как исторически конституированной и прочной формы. Ведь, согласно формулировке, приписываемой Сталину, члены нации, наряду с общим языком, хозяйственным укладом жизни и психологическим складом, проявляющимся в общности культуры, должны были разделять и общую территорию. Учитывая историю набегов, вторжений, войн и миграций на той территории, которая в конце концов стала Узбекистаном, можно признать весьма вероятным тот факт, что любая попытка применить сталинскую формулировку к новообразованным республикам Средней Азии должна была потребовать определенного мифотворчества.

По изначальному замыслу Узбекистан должен был включить территорию Таджикистана, которому отводился статус автономной республики. Данный замысел, по мнению Д. Карлайла, представлял собой компромисс, позволявший таджикам получить в результате национального деления “конкретно определенную, но не независимую территорию”³. Вместе с тем Д. Карлайл считал, что Узбекистан в границах 1924 г. был по существу “Великой Бухарой” или, по крайней мере, “откровенной старой Бухарой”. Д. Карлайл, таким образом, истолковывал последующее повышение статуса Таджикистана до полноправной союзной республики как своего рода наказание сторонникам идеи “Великой Бухары”, таким как Файзулла Ходжаев⁴. В проигрыше Ходжаева следовало видеть проявление определенных политических тенденций, которые наметились в Узбекистане в то время и которые также отразились в перенесении столицы Узбекистана из Самарканда в Ташкент в 1930 г. Сегодня, конечно, нам известно, что компромисс, давший таджикам статус “конкретно определенной” территории в 1924 г. и статус республики в 1929 г., никогда не оспаривался сколько-нибудь серьезным образом, который бы поставил под угрозу существование Таджикистана. Но, учитывая то, как важен был вопрос о создании Узбекистана для узбекской нации, на все эти ранние меры следует смотреть как на имеющие огромное значение.

С эволюцией узбекской идентичности были очень тесно связаны и изменения в определении узбекского языка. Как указывает А. Ильхамов, принципы узбекской орфографии опираются на диалекты (преимущественно городские), в которых отсутствует гармония гласных. Необходимо отметить, однако, то, что поначалу, когда в конце 1920-х годов узбекский язык переводился на латинскую письменность, орфография опиралась на диалектическую базу как раз с гармонией гласных. Предзнаменованием грядущего перехода на диалектическую базу без гармонии гласных стало январское собрание Всесоюзного комитета нового алфавита в 1933 г. в Москве, которое было посвящено вопросам узбекской орфографии. Именно это собрание вынесло рекомендацию перейти на диалекты без гармонии гласных, и после дискуссий, развернувшихся в узбекской прессе по частностям данного вопроса, в марте 1934 г. ЦИК Узбекской ССР утвердил более короткий алфавит и новые орфографические правила⁵. Таким образом, важно учитывать то, что с лингвистической точки зрения узбекский язык изначально не опирался на “иранизированные” городские диалекты.

А. Ильхамов пишет, что “первоначально, в 1927 г., Узбекистану был навязан латинский алфавит, что... можно рассматривать как видимую уступку пантюркистам”. “В действительности”, рассуждает он, это было “лишь прелюдией” к введению кириллического алфавита в 1939 г. По мнению А. Ильхамова, “очевидной целью обеих реформ была нейтрализация местных националистов и отсечение народов Средней Азии как от арабо-персидского культурного прошлого, так, в конечном счете, и

от мусульман других стран”⁶. Безусловно, я согласен с тем, что, как только надежды на мировую революцию стали таять, большевики начали стремиться к тому, чтобы отделить среднеазиатов от их сообщников по религии за рубежом. Мне кажется, однако, что политические стратегии 1920-х годов были все же несколько более сложными, чем они представлены в данных рассуждениях А. Ильхамова. Думаю, что в решениях советской власти по поводу создания узбекского языка и его оформления в согласии с теми правилами, которые обсуждались в конце 1920-х годов и впоследствии, прорисовывается ббльшая настороженность и чувствительность власти к присутствию пантюркистской опасности.

Большевики успешно использовали в своих целях то недовольство, которое некоторые из архитекторов “узбекского” языка испытывали к татарам, обвиняемым в игнорировании интересов тюркоязычного населения Средней Азии и в попытках насаждения единой тюркской нормы. Впрочем, и идея единого унифицированного “узбекского” языка (включавшего в себя все диалекты, которые впоследствии приписывались ему) тоже не поддерживалась всеми “узбекскими” джадидами. Некоторые, в частности Гази Алим Юнус, стремились, как утверждалось, разделить “узбекский” на три отдельных языка под предлогом “демократизации”⁷.

Несмотря на опасения по поводу татарского влияния, одной из главных тем в дискуссиях конца 1920-х годов об узбекском языке все равно оставалось то, в какой степени “тюркскость” (*turklik*) надлежало сохранять. Это – критически важная деталь того контекста, который окружал затронутые выше перемены в диалектической базе. Проблема в действительности была гораздо сложнее простого вопроса об инкорпорации отдельных звуков и букв: на протяжении 1920-х годов разгорались, казалось бы, нескончаемые споры о том, следует ли приводить заимствования из арабского, персидского и “европейских” языков в согласии с правилами гармонии гласных и каким образом применять данные правила к суффиксам.

Далее, остается неясным и то, в какой мере принятие латинского алфавита и соответствующих правил орфографии было навязано узбекам (как и народам, говорившим на некоторых других языках) – во всяком случае представляется, что событие имело более сложный характер, чем характер уступки пантюркистам. В самом деле, в первой половине 1920-х годов представители татарской интеллигенции (которая, возможно, сильнее, чем любая другая группа, лелеяла пантюркистские надежды) активно выступали *против* принятия латинского алфавита. Наиболее же последовательными сторонниками этого среди тюркоязычных народов бывшей Российской империи были азербайджанцы, которые по крайней мере по сравнению с татарами, пантюркистами не являлись.

В опубликованных материалах, встретившихся мне в ходе собственных исследований реформы узбекского языка в 1920-х годах, я не нашел признаков какого-либо категоричного уклона в сторону принятия или непринятия латинского алфавита среди многих активных реформаторов “узбекского языка” и поэтов, таких как Эльбек, Фитрат или Чулпон. Джадиды и их союзники, участвовавшие в дебатах о реформе узбекского языка, несомненно, осознавали знаковую ценность и инструментальную функцию алфавита как связующего звена с другими тюркскими народами. Однако в то же время они были заняты поисками наиболее удобного инструмента, который бы позволил поднять грамотность среди народа скорейшим образом. К примеру, даже будучи осведомленными о том, что в других тюркских языках планировалось заимствовать как строчные, так и заглавные варианты латинских букв, некоторые из реформаторов узбекского языка тем не менее настаивали на принятии исключительно строчных букв, так как они полагали, что заучивание заглавных букв потребует слишком много времени⁸. Учитывая подобную установку на упрощение задачи

приобретения навыков чтения, можно предположить, что для перевода узбекского языка на латинский алфавит особого давления от Москвы и не требовалось. (Но это, конечно, не значит того, что любые задумки реформаторов узбекского языка могли бы пройти успешно, если бы они были направлены против идеи введения нового алфавита.)

На введение латинского алфавита в конце 1920-х годов следует смотреть на более, чем просто “прелюдию” к переходу на кириллический алфавит, еще и по другой причине. В 1920-е годы латинский алфавит достаточно широко пропагандировался как “алфавит Великого Октября”. Даже в 1930-е годы А.В. Луначарский еще выражал уверенность в том, что и русская письменность будет в конце концов латинизирована⁹.

А. Ильхамов пишет, что политика русификации национальных республик началась “после удаления с политической арены последних джадидов”. В этой связи он обращает внимание, в частности, на искусственную инкорпорацию в узбекский язык некоторых русских слов, которые стали вытеснять ранее существующие. Я совершенно согласен с ним в вопросе о существовании наметившихся тенденций, но, по моему мнению, временной срез был несколько иным, что важно для понимания динамики процессов в 1930-е годы. Некоторые из джадидов, как например Ф. Ходжаев, не сошли с политической арены вплоть до 1937–1938 гг. Фитрат и Чулпон, хотя они уже и не участвовали в политике в это время, все еще публиковали литературные труды и переводы. Процесс же русификации словаря был в действии уже несколькими годами ранее. В 1932 г. первый секретарь компартии Узбекистана Акмаль Икрамов критиковал узбекские переводы классиков марксизма-ленинизма, в которых термины “доклад” и “актив” передавались словами, имевшими арабские корни. А в статье Курбана Берегина, появившейся в середине 1933 г., указывалось на то, что не было “никакой нужды” изобретать узбекские эквиваленты для слов “интернационал”, “революция”, “диктатура” и “экспорт”¹⁰. И хотя в 1933 г. в отношении авторов, настаивавших на переводе подобных терминов с помощью слов арабского, персидского и тюркского происхождения, еще проявлялась определенная снисходительность, то в 1934 г. нарушители, не желающие пользоваться “международными” эквивалентами, уже стали единогласно обвиняться в “грубейших политических искажениях”¹¹ и “преступной небрежности”¹². Узбекский “Партиздат”, к примеру, был обвинен в “исключительной, недопустимой халатности” (а его переводчики – в отсутствии “должной партийной бдительности”), приведшей к публикации “политически вредных переводов”¹³.

Процесс русификации был также очевиден и в других областях, к примеру, в области культуры и исторических исследований, но суть моего замечания в том, что он начался ранее, еще в то время, когда некоторые из джадидов были на арене действий. После 1930 г. (и, по спорному утверждению, уже в конце 1920-х годов) их позиции, впрочем, были уже серьезно ослабленными.

По моему мнению, А. Ильхамов верно замечает, что уже начиная с 1950-х годов и в 1960–1970-е годы «...большинство узбеков на вопрос “кто вы?” ответило бы, в первую очередь, “узбек”, а затем назвало бы местность их проживания»¹⁴. Но полагаю, однако, что ответ зависел от контекста, т.е. от того, кто задавал вопрос и, более конкретно, кем отвечающий представлял себе задающего вопрос. Кроме того, я думаю, что в то время во многих ситуациях обе стороны были склонны интерпретировать этот вопрос как: “Какова национальность, записанная в вашем паспорте?”. К 1950–1960-м годам все проживающие в Средней Азии реагировали на важность этого классификационного критерия гораздо более четко, чем их родители или пра-родители тремя или четырьмя десятилетиями ранее. Общие исторические мифы и

язык, на которых заостряет внимание А. Ильхамов, – чрезвычайно важные элементы в узбекской идентичности, принявшей форму также и под влиянием отмеченных дебатов и политических решений. Но в то же время один из наиболее фундаментальных сдвигов, происшедших в советский период, состоял в том, что индивиды начали понимать себя как принадлежащих к национальностям – а это, в свою очередь, было результатом более масштабного эксперимента в сфере социального строительства.

Один из наиболее ценных аспектов статьи А. Ильхамова заключается в том, что она затрагивает те самые с виду эзотерические дебаты и решения, последствия и отзвуки которых в настоящее время и в будущем могли бы быть совсем другими... если бы только политическая власть оказалась в руках другого режима. В этом смысле исследователя, смотрящего на процесс переписывания истории в сегодняшнем Узбекистане, не могут не поражать устойчивые закономерности другого рода, которые обозначились еще в советский период. Достаточно ясно, что для сегодняшних руководителей Узбекистана существует “правильная” версия истории и что интерпретации, отклоняющиеся от нее, нежелательны. Как отмечает А. Ильхамов, подобный подход к истории и ее идеологизированию всегда был чрезвычайно важен в деле оправдания политических решений любого авторитарного режима. Негативное отношение к исследованиям самого А. Ильхамова со стороны узбекского истеблишмента демонстрирует, что существо взаимоотношений между историей и политикой в Узбекистане сегодня обнаруживает много схожего с взаимоотношениями, культивировавшимися в советский период.

Примечания

¹ *Smith A.D.* National Identity. Reno, 1991. P. 26.

² *Carlisle D.S.* Uzbekistan and the Uzbeks // *Problems of Communism*. 1991. September–October. P. 23–44.

³ *Carlisle D.S.* Geopolitics and Ethnic Problems of Uzbekistan and Its Neighbors // *Muslim Eurasia: Conflicting Legacies*. L., 1995. P. 76.

⁴ *Ibid.* P. 75–77.

⁵ *Fierman W.* Language Planning and National Development: The Uzbek Experience. B., 1992. P. 131.

⁶ *Ильхамов А.* Археология узбекской идентичности // *Этнический атлас Узбекистана*. Ташкент, 2002. С. 294.

⁷ *Fierman W.* *Op. cit.* P. 74.

⁸ *Ibid.* P. 85.

⁹ *Луначарский А.В.* Латинизация русской письменности // *Культура и письменность Востока*. 1930. № 6. С. 20–26.

¹⁰ *Beregın Q.* Til va termin sahasida burzhuazija millatchilikiga qarshi proletar internatsionalizmi uchun kurash // *Kitab va inqilob*. 1933/ № 6. P. 19–24.

¹¹ *Правда Востока*. 1934. 17 июня.

¹² Там же. 1934. 21 нояб.

¹³ *Гусейнов А.* За высокое качество переводов классиков марксизма-ленинизма на языки народов СССР // *Революционный Восток*. 1934. № 2. С. 199.

¹⁴ *Ильхамов А.* Указ. соч. С. 300.